

**МАША
ТРАУБ**

Читайте книги Маши Трауб

ЛЮБОВНАЯ АРИТМИЯ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МЛАДЕНЦЫ
Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА
ВСЯ LA VIE
СЕМЕЙНАЯ КУХНЯ
ЛАСТОЧ...КА
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА
НЕ ВСЯ LA VIE
ПЬЯНАЯ СТЕРЛЯДЬ
ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА
ПАДШАЯ ЖЕНЩИНА
ДОМИК НА ЮГЕ
ОСТОРОЖНО – ДЕТИ! ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СОБИРАЙСЯ, МЫ УЕЗЖАЕМ
СОНЯ И АЛЕКСАНДРА
ПЛЮС ОДИН СТУЛ
ЧУЖОЙ
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
ИСТОРИИ МОЕЙ МАМЫ
НАША ДЕВОЧКА
ПЛОХАЯ МАТЬ
ШУШАНА, ЖУЖУНА И ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ С ДЕДУШКОЙ
ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
ЛИШНИЕ ДЕТИ
БЕДАБЕДА
ИЛИ Я СЕЙЧАС УМРУ ОТ СЧАСТЬЯ
ЛЮБОВЬ СО СТРАННОСТЯМИ И БЕЗ
ВСЕГДА КТО-ТО ПЛАТИТ
МОЯ БАБУШКА – ЛЕРМОНТОВ
ПОЛНОЕ ОЗОМЛЕНИЕ
НА ГРАНИ РАЗВОДА
ПЛОХАЯ ДОЧЬ
УВАЖАЕМЫЕ ОТДЫХАЮЩИЕ!
ТЕТЯ АСЯ, ДЯДЯ ВАХО И ОДНА СВАДЬБА
НЕ МАМКАЙ!
СУП, ВТОРОЕ И КОМПОТ
ПОСМОТРИ НА МЕНЯ

МАША
ТРАУБ

Посмотри
на меня



Москва
2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т65

Разработка серии и оформление обложки:
Александр Кудрявцев, студия графического дизайна
«FOLD & SPINE»

Иллюстрация на переплете *Ирины Ветровой*

Трауб, Маша.

Т65 Посмотри на меня / Маша Трауб. — Москва :
Эксмо, 2022. — 352 с.

ISBN 978-5-04-154537-6

Любовь — это счастье? Иногда да. Но чаще всего — боль, нестерпимая. Зависимость, ненормальная страсть. А если такая любовь длится годами, едва ли не десятилетиями и заставляет отказаться от семьи и собственного ребенка? Если любимая профессия тоже становится проклятием? Тогда как жить? А может, это вовсе не любовь, а эгоизм, когда важны только собственные чувства? Судьба снова и снова дает герою шансы все исправить. Но для этого нужно отказаться от любимой женщины. И потерять себя. Чтобы потом заново обрести опору.

Маша Трауб

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Трауб М., 2022
© Оформление.
ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-154537-6

— Э то сын звонит. Прости.

Виталий ответил на звонок.

— Да, конечно, позвони, как все пройдет, хорошо? Обязательно. Нормально себя чувствуешь? Выздоровел? Да, хорошо.

— Сколько ему сейчас?

— Семнадцать. В институт поступает. В МарХИ. Надеюсь, все хорошо будет. Я больше него волнуюсь.

— Ты ведь, кажется, с ним не общался? Не воспитывал, не растил. Даже видеть не хотел. Насколько я помню, ты был рад, что тебя избавили от обязанностей отца? Или меня память подводит? А теперь беспокоишься, как заполошный отец. Не находишь это странным?

— Я с ним виделся. Даже готовил к поступлению в художественную школу.

— Сколько дал уроков? Два или три? А что потом? Он тебе надоел?

— Не сложилось. Он палец порезал ножом, который я ему подарил, и его мать... это было ее решение.

— Да, а сейчас ты обрел готового взрослого сына. Подожди, а когда он узнал, что ты его отец? Кажется, это была страшная тайна?

Маша Трауб



— Он сам. Нашел документы. Спросил у матери. Ему было пятнадцать. Какая разница?

— Ну да, конечно, никакой разницы. Подросток вдруг узнает, что у него есть отец, которого он даже видел, но считал посторонним дядей. И все это время этот дядя не сделал ни единой попытки изменить ситуацию. И не собирался признать, что он — отец. Ты хоть понимаешь, что творилось в голове у мальчика? Удивительно, что он еще с тобой общается.

— Ты стала злая. Изменилась. Ведь знаешь, чего я хотел. Тебя. Все было из-за тебя. И тогда тоже. Если бы не ты, все было бы по-другому. Да, он приходил три или четыре раза, не больше. Мне он нравился. Его мать, Лена, она была не против — наоборот. Я бы обязательно признался. Но опять появилась ты. Позвонила и разрушила мою жизнь. Как делала всегда. Дожидалась момента, когда я начинал жить без тебя, дышать, и снова все ломала. Ради тебя я отказался от семьи, от сына. Только ты в этом виновата. Я был зависим от тебя. Ждал каждый день. Ты же все знаешь, зачем сейчас начала вспоминать? Когда мне было плохо, тебя никогда не было рядом. Ни разу. А Лена была.

— Ты не меняешься. У тебя всегда кто-то другой виноват. Так и не научился нести ответственность. Раньше обвинял жену и ее семью в том, что они лишили тебя сына и сделали так, чтобы ты его не видел. Теперь вот меня виноватой назначил.

— Ты тогда была на моей стороне.

— Нет. Тебе хотелось так думать. Я была ни на чьей стороне. Не имела права. Кто я? Любовница.

Посмотри на меня



— Любовь.

— Сейчас это не имеет никакого значения. Прошло все.

— Тогда зачем я тебе? Зачем ты появлялась? Почему не отпускала? И сейчас. Зачем пришла?

— Отпускала. Много раз. Ты меня не отпускал. Тебе нужны были мои коленки, ступни, шея, уши. До сих пор хранишь эти наброски? Они меня пугали, если честно.

— Храню. Я так и не написал тебя. Полностью. Уже не напишу.

— Ну почему? Я могу тебе позировать. Давай сейчас. Хочешь? И я перестану быть тебе интересной. Мы наконец расстанемся. Я за этим и пришла. Попрощаться. Уезжаю. Надеюсь, что навсегда.

— Далеко?

— Нет. Но достаточно далеко от тебя.

— Ты не ответила. Почему всегда возвращалась?

— Не знаю. Честно. Сначала была страсть. И да, ты прав — любовь. Безумная, ненормальная. Твои наброски. Они и пугали, и завораживали одновременно. Это была зависимость. В твоих набросках было столько страсти, столько желания. Мне нравилось смотреть на тебя, когда ты пишешь. А потом на себя на твоих рисунках. Разглядывать собственные грудь, плечо, локоть. Странная форма вуайеризма. Кстати, ты никогда не пытался совместить наброски? Как конструктор? А мне безумно этого хотелось. Вырезать и сложить на полу картину, как пазл.

— Мне это в голову не приходило.

— А я ждала картину. Хотела увидеть себя целиком. Ведь я тоже была как твои наброски — частя-

Маша Трауб



ми. Никак не могла себя собрать воедино. Ты это заметил, почувствовал. Или нет. Не знаю. Но мне казалось, что, когда ты завершишь картину, я сама стану полноценной. Настоящей. Понимаешь, я считала себя наброском, карандашным. Без красок, без теней. Вся моя жизнь была такая, набросанная наспех. Непрорисованная. Ученическим рисунком, на котором видны аккуратно обозначенные линии. Я все ждала, когда ученик превратится в мастера.

— Что изменилось сейчас? Почему ты уезжаешь?

— Мне надоело. Я устала. Ничего необычного. Хочу просто жить, наплевав на геометрию, композицию и пропорции. Раньше думала, что можно подтереть неудачи ластиком, заштриховать. Теперь понимаю, что проще порвать, сжечь холст и начать заново. Да, не морщись. Все настолько банально. Хочу начать жизнь с чистого листа. Посмотри на меня. Ты видишь? Здесь — целлюлит. Здесь — кожа провисла. Вот здесь — пигментные пятна. А здесь — новые складки. Раньше их не было. Не хочешь сделать новый набросок?

— Нет. Мне не нужно.

— А мне нужно. Если бы ты хоть раз посмотрел на меня по-другому. Ты не меняешься с годами. К сожалению. Я ждала много лет. Каждый раз, возвращаясь, надеялась. На что? Сама не знаю. Мыломочало, начинай сначала... Ты продолжал писать не меня, а придуманный образ. Меня, живую, не видел. Не хотел увидеть.

— Нет, я всегда писал тебя.

Посмотри на меня



— Посмотри на мою коленку. Ни на одном наброске нет этого шрама. Ты его не замечал. Видел, конечно же. Миллион раз. Но его нет на твоих рисунках. Даже ни разу не спросил, откуда у меня этот шрам. Хочешь узнать? Нет? Сколько моих коленок ты написал? Сто? Двести? И ни на одной нет этого здорового шрама. В детстве, мне было девять, я упала с велосипеда и наткнулась на кусок арматуры. Коленку зашивали. А едва рана стала заживать, только сняли швы, я опять поехала кататься на велосипеде и упала. На эту же самую коленку. Ты этого не знал. Тебе это было неинтересно, не нужно. Как лишняя, бессмысленная информация, которой не хочется засорять голову. Ты ни разу, пусть из вежливости, не спросил, как я себя чувствую, болит ли у меня голова, в конце концов. Как-то я приехала к тебе с загипсованной по локоть рукой. На перевязи. Ты, кажется, этого не заметил. Рисовал мои ступни, икры. Не помнишь? Конечно, нет. Если бы просто хоть раз поинтересовался, как прошел мой день. Сколько мы знакомы? Твой сын еще не родился, когда мы познакомились, вот и считай. И ты не знаешь, что я люблю, чего терпеть не могу. Что я предпочитаю — чай или кофе. Какие люблю фильмы, книги, музыку. Ты ничего обо мне не знаешь.

— А ты обо мне?

— О, это твой любимый прием — всегда отвечать вопросом на вопрос. Поверь, о тебе я знаю больше, чем ты думаешь. Не ешь сметану и терпеть не можешь любые блюда, залитые соусом. Ты пьешь кофе с одним куском сахара. Чай — только

Маша Трауб



с лимоном и без сахара. Тебя не раздражает пыль, но тут же хватаешься за тряпку, если видишь пятна на полу. Продолжать? И да, с тобой невыносимо находиться дольше четырех часов. У тебя появляется на лице выражение муки и страдания — до того хочется остаться одному, надоедает присутствие рядом другого человека. Даже раздражает. И ты абсолютный, кристаллизованный эгоист. А еще сноб. Не знаю, что хуже. Тебе наплевать, хочет ли другой человек есть или пить, если ты в тот момент не голоден и не страдаешь от жажды. Если я хотела просто посидеть в кресле, тебя это не волновало. Новый набросок занимал все твои мысли.

— Возможно, я эгоист, но точно не сноб.

— Разве нет? Кто такая Галя? А дядя Петя? Не знаешь? Потому что они для тебя никто, пустое место. Галя — консьержка. Она твою бабушку помнит. Рассказывала мне, как та всегда ей что-нибудь на праздники дарила — пусть цветок, коробку конфет, — но всегда останавливалась, спрашивала, как Галя поживает, как учится в школе ее внук. Ты ни разу с ней не поздоровался. Не кивнул. Дядя Петя — твой сосед снизу. Он курит на лестничном пролете. На лестнице проводит больше времени, чем в квартире. Жену похоронил пять лет назад. Она болела тяжело, дядя Петя подрабатывал сантехником, электриком, дворником, чтобы жене лекарства купить. Весь подъезд сбрасывался на похороны. Все дали кто сколько мог. Хоть копеечкой, но помогли. Все, кроме тебя. Я тогда отдала, сказала, что ты передал. Дядя Петя и у тебя засор чинил, прокладки в кране менял. Ты тогда ушел в комна-

Посмотри на меня



ту, оставив с ним меня. Тебе было противно, что от дяди Пети пахнет немытым телом и дешевыми сигаретами. Ты просто не считал нужным общаться с каким-то сантехником.

— Это не снобизм.

— Да, ты прав, это скорее открытое хамство. Ты можешь унижить человека, не заметив этого. Не слышишь собеседника. Всех, кто чуть меньше знает, автоматически считаешь идиотами. Даже меня считал полной дурой. Просто потому, что я ничего не понимала в живописи, не разбиралась в искусстве и не собиралась. Это тебя раздражало и заводило одновременно. Твоя жена. Хорошая, добрая женщина. Верная, преданная. Сколько она для тебя сделала? Ты хоть раз сказал ей спасибо? Ни разу. Принимал как должное. А ведь благодаря ей и ее семье получил дом, поддержку, пресловутый тыл, в которых так нуждался. Они тебя приняли. Сразу и безоговорочно. Со всеми твоими закидонами и потрохами. А ты их нет. Почему? Потому что твой тещь, как ты рассказывал мне, военный, солдафон, а значит, тупой по определению. Теща — неработающая домохозяйка — вообще твоего внимания не заслуживала. Разве нет? И жена — не красавица, не умница. Просто жена. И плевать тебе было на ее работу, на то, что она не трепала тебе нервы, не унижалась и одна растила сына. Ты хоть копейку ей сверх алиментов заплатил? Нет. Хоть раз поблагодарил за то, что она была рядом в самые тяжелые моменты? Нет. И она ни разу тебя не попрекнула. Ни словом, ни делом. У тебя даже друзей нет, не нажил за всю жизнь. Ни одного человека, которого

Маша Трауб



мог бы назвать хотя бы приятелем. А сейчас гордо объявляешь, что у тебя есть сын. Есть. Но ты спросил у него, считает ли он тебя отцом? Что творится у него в душе, в голове? Винит ли он тебя? Не спросил. Тебе ведь и в голову не пришло поговорить с ним, объяснитьсь хоть как-то. И перед ним извиниться. Мальчик, видимо, вырос воспитанный. И не может сказать тебе все, что думает. Исполняет свой сыновий долг, как его мать всегда исполняла свой — жены, хоть и бывшей, но не постороннего человека.

— Зачем ты мне все это говоришь? И если я такое чудовище, подлец и скотина, а ты все видела и понимала, почему была со мной? Все это время?

— Вряд ли ты поймешь. Да я и сама себя никогда не понимала. Каждый раз обещала себе, что этот раз — точно последний. Больше не приеду. Но иногда, в определенные моменты, ты был совершенно другим. Гением. Художником. Это завораживает по-настоящему. Никто никогда на меня так не смотрел. Будто моя нога или рука — шедевр, который невозможно повторить. Недостигаемый идеал. Благодаря тебе я чувствовала себя настоящей женщиной. Красивой. Да, наверное, поэтому. Ты давал ту уверенность в себе, которой мне всегда не хватало. Будто сеанс гипноза. От тебя я выходила другой. Той, какой никогда не была — яркой, дерзкой, наглой. На какое-то время хватало, а потом мне снова требовался твой взгляд. Как допинг или наркотик. Поэтому и возвращалась. За новой дозой. У нас была взаимозависимость. Мы подпитывали

Посмотри на меня



друг друга, так мне казалось раньше. Сейчас понимаю — это было взаимное разрушение. Нам было противопоказано жить вместе. Мы бы друг друга уничтожили. Высосали все соки, выпили бы всю кровь и умерли в один день.

— Мне бы этого хотелось.

— А мне нет. Я хотела жить. Без тебя.

— У тебя были другие мужчины.

— Были, но я их не помню. Точнее, вспоминать особо нечего. Я пыталась выжить между периодами существования с тобой. Была согласна на любого, лишь бы ты уже не стоял перед глазами, не снился каждую ночь. Эти кошмары невыносимые... Мне казалось, что с каждым твоим наброском я теряю часть себя. Отдаю себя по кускам и скоро от меня вообще ничего не останется.

— Ты уезжаешь к кому-то? У тебя кто-то появился?

— В том-то и дело, что нет. Я уйду не к кому-то, как было раньше, а от тебя. Одна. У меня никого нет, и я не уверена, что будет. Но я попытаюсь начать жить пусть не заново, но по-другому. Без тебя, без набросков, понимаешь? Забыть дорогу в твою сторону, номер дома. Квартиру твою стереть из памяти. Если бы изобрели технологию вроде лоботомии, по удалению части памяти, совершенно конкретной части, я была бы первым добровольцем, чтобы ее испытать. Разве тебе так не хотелось? Никогда?

— Нет. А мне что ты предлагаешь делать? Пожелать тебе удачи и пожать руку на прощание?

— Не знаю. Живи. Общайся с сыном. Постарайся вымолить прощение у своей жены и быть ей

Маша Трауб



хотя бы благодарным. Стань ей другом. Или предложи снова выйти замуж. Она согласится. Непременно. Наверняка только этого и ждет, ждала все эти годы. И вы вместе состаритесь. Будете сидеть рядом на свадьбе вашего сына, воспитывать внуков. Она непременно станет о тебе заботиться, приносить чай, следить за твоим давлением, проветривать комнату, как ты любишь. В солнечные дни вы будете гулять по парку — потихоньку, медленным шагом. Или сидеть на лавочке и молчать. Почему нет? Прекрасный закат твоей счастливой новой жизни, не находишь?

— Это невозможно. Ты сейчас специально? Издеваешься? Говоришь такие пошлые банальности...

— Вовсе нет. Разве мы с тобой, наша связь — не пошлая банальность? В этом ты тоже не изменился, к сожалению. Тебе проще списать все на глупость другого человека, чем признать, что это правда. Ты пошлый и банальный. Не хочешь тратить силы, эмоции, чувства. Или попросту лень. Что ты всегда хотел? Еще тогда, много лет назад, когда твоя жена подала на развод? Чтобы тебя оставили в покое. И потом мечтал только о том, чтобы все беды, неприятности решались сами собой, чужими руками разводились беды, решения принимались за тебя. Удивительно, что так все и случилось. Даже завидую.

— Я одного не понимаю — к чему этот разговор? Что ты хочешь мне доказать? Почему просто не уехала?

— Ну, считай, что я твоя вдруг заговорившая совесть. Хотя она у тебя, кажется, давно потеря-

Посмотри на меня



ла право голоса. Сейчас я — эгоистка. Все это говорю не для тебя, для себя. Мне самой нужен был этот разговор. Выговориться, чтобы не осталось недоговоренностей, сомнений, вопросов. Я ведь не только тебе жизнь сломала, как ты считаешь, но и себе. У меня никого и ничего нет. Даже ребенка. Наверное, это моя расплата. В бога я не верю, так что отмолить грех не получится. Я забеременела от тебя почти сразу. Мы едва начали встречаться. Очень перепугалась. Тогда я была не готова — вся жизнь впереди. Работала чуть ли не круглыми сутками, без отпусков и выходных. Видела, что и тебе ребенок не нужен. Так что сделала аборт на раннем сроке. Думала, еще успею. Все женщины делают аборт, а потом спокойно рожают. Мне казалось, что это как зуб мудрости вырвать — долго потом еще челюсть болит, но все проходит. Было совсем не страшно — я не чувствовала боли, не плакала, не испытывала моральных страданий. Все прошло легко и быстро. На удивление. Только потом я больше не могла забеременеть. Ни с тобой, ни с кем-то другим. Врачи говорили, все в порядке, я здорова. Надо подождать, надеяться. На что?

— Я не знал... что ты была беременна...

— Конечно, не знал. А зачем? Я даже была рада. Тогда. Знаешь, иногда безумно тебе завидовала. Ты знал, что у тебя есть ребенок. Где-то там, пусть не рядом, но он есть. И ты в любой момент можешь его увидеть, если захочешь. Получается, ты прожил не такую уж никчемную жизнь, как я. У тебя есть жена, пусть и бывшая, женщина, которая тебя

Маша Трауб



любила всю жизнь. Готовая тебя принять в любой момент. Сын, пошедший по твоим стопам. А у меня? Ничегошеньки. Ни одного якоря. Даже квартиры. Я ее продала сразу после смерти мамы. Живу сейчас на съемной.

— Соболезную.

— Да, спасибо. Смешно, конечно. Ты ведь не знал, что я похоронила маму. Как не знал, что у меня есть старший брат и две племянницы, третья скоро родится. Может, моя судьба — быть замечательной тетей, а не матерью? Племянницы меня обожают. Кто знает?

— Почему ты не сказала про беременность?

— Я пыталась. Помнишь, говорила, что хочу когда-нибудь родить девочку и назвать ее Анной. Ты фыркнул и сказал, что всех Аней зовут Нюсями и тебя тошнит от этого имени. Тебя и от имени сына воротило. Лерик, так ведь? Валерий. Как ты его называешь сейчас?

— Валерьяном.

— Забавно. Кстати, помнишь, что стало последней каплей? Почему твоя жена подала на развод?

— Измена. Я тогда был с тобой.

— Нет. Она о нас не знала, даже не подозревала. Твой сын тогда попал в больницу, а ты к нему не приехал. Она звонила и звонила. Ей нужна была твоя поддержка. Я тогда уехала, и ты сказал, что разберешься с семьей и позвонишь. Ты позвонил, но до больницы так и не доехал. И потом не приехал, даже не поинтересовался, как себя чувствует твой сын. Сейчас уже не важно на самом

Посмотри на меня



деле. Ты вообще часто вспоминаешь прошлое? Не частями, не кусками, а событиями? Восстанавливал хронологию? У меня целое кино в голове, по-кадровое.

Виталий вспоминал, и часто. Лена тогда позвонила в истерику. Сказала, что Лерик задыхается. Не может дышать. То ли круп, то ли астма. Забирают в больницу.

— Ты можешь приехать? — кричала Лена.

— Сейчас? — спросил Виталий.

— Да, сейчас. — Лена продиктовала номер и адрес больницы.

— А где твои родители? Они не могут с тобой поехать? — спросил Виталий.

Лена бросила трубку. Виталий тогда отказался от всех заказов. Поставил посередине комнаты стул, накрыл его простыней, водрузил сверху старый дырявый бидон. Сдернул шторы, пытаясь вытянуть из столичного вечно грязного, как обувь, сумрака хоть каплю света. Писал по-ученически тщательно, осторожно, аккуратно. Добивался идеальных пропорций. Штриховал, стирал. В этом не было никакого смысла, конечно. Бидон его раздражал налипшими слоями жира, грязи и пыли. Все раздражало. И эта простыня, несвежая, напоминавшая об Инге. И окна. Грязные, естественно. Бабушка мыла дважды в год. Осенью и весной. Всегда сама, не доверяя никому — ни соседке, которая хотела помочь по доброте душевной, ни женщине, появлявшейся в их подъезде дважды в год и ходившей по квартирам, предлагая свои услуги. Бабушка

Маша Трауб



разводила секретный состав на основе нашатырного спирта и натирала исключительно газетами, презируя тряпки.

— Бабуль, ну ладно весной, а осенью зачем мыть — дожди каждый день? — спросил как-то Виталий.

— Как зачем? Положено, — удивлялась вопросу бабушка.

Кто сказал, что положено, Виталий не уточнял.

— Вот, послушалась вас, Валентина Ивановна, помыла окна вчера по вашему совету, а сегодня что? Ну посмотрите! Ливень стеной! Надо было еще недельку подождать, — причитала соседка.

Но бабушку ни ливень, начавшийся на следующий день после помывки, ни вдруг выпавший снег или град не волновали. Окна она уже помыла. Дело сделано. Даже когда однажды весной бабуля увидела на чистом еще накануне вечером окне следы мошкары, которая вдруг откуда-то налетела и влипла в стекло, она и бровью не повела. Перемывать не стала. Крылья, лапки и тельца мошек, не сдутые ветром, украшали стекло все лето, до следующей большой помывки.

— Как хорошо. Сразу светло стало, — всегда повторяла бабушка, усевшись напротив отмытого окна.

Виталий не спорил. Светло так светло. В их квартире без искусственного освещения прожить было невозможно. Тому, кто отвечал за планирование постройки, Виталий всегда желал побольше несчастий в жизни. Ни в одной квартире в их домах, однотипных девятиэтажках, не был пре-

Посмотри на меня



дусмотрен хотя бы крошечный балкон. Окна же были обращены на теневую сторону. Зато с обратной стороны общие балконы, просто громадные, по сравнению с квартирами, где трехкомнатная больше походила на однокомнатную, нарезанную узкими комнатушками-пеналами, всегда были залиты слепящим светом. Виталий не понимал, почему нельзя было повернуть весь квартал окнами на солнечную сторону и убрать бессмысленные общие балконы. Они были поделены между квартирами на квадраты и заставлены хламом — старыми шкапами, сломанными велосипедами, выставленными туда с обещанием починить следующим летом, старыми люстрами, которые рука не поднимается выбросить, но и отдать кому-то даром тоже жалко.

В год заселения все жильцы высадили перед домами деревья. Сажали, как ненормальные, много, активно, все что ни попадя. Саженцы берез, тополей, елок, яблонь. Каждый дом хотел перещеголять соседний, и кусок земли, отведенный не пойми подо что, естественно огромный по сравнению с крошечной детской площадкой, установленной в каждом дворе, был засажен по самое не могу. Наверное, тот год был урожайным или плодоносным — кто его знает, — но во дворах прижились все деревца, даже чахлые яблоньки. Деревья росли с ненормальной для столичного климата скоростью и отличались пышностью и активностью цветения. Жильцы решили не останавливаться на достигнутом и ввели традицию — по любому важному поводу во дворе высаживали новое дерево.

Маша Трауб



Рождение ребенка, первый раз в первый класс, окончание школы. Дни рождения, именины — естественно. Юбилеи, годовщины свадеб — обязательно.

И эти деревья успешно приживались. Уже представители следующего поколения жильцов вспоминали, как гуляли не во дворе, а в рощице под окнами. Там же, в случайным образом появившейся канаве, весной превращавшейся в полноценный ручей, малышня пускала кораблики и проходила своеобразный обряд инициации — перепрыгивала поток в самом широком месте. Перепрыгнул, не замочив ботинок, — стал взрослым и допускался до игр со старшими. В рощице закладывались «секретки» — цветные бутылочные стекла, фантики. Там же, но чуть подальше от «мелких» тайком курили подростки. А еще дальше, под тополями, назначали первые свидания, давали клятвы и переживали бурные расставания. Родителям было спокойно — все знали, где искать детей. В ручье не утонут — слишком мелко. На бутылочное стекло не наступят — за оставленную в рощице бутылку им обещали открутить голову сразу же. Как и за сломанную даже ненароком ветку дерева. Цветки мать-и-мачехи, одуванчики дозволялось рвать только малышам. А лютиками, расплзающимися ковром, старшие традиционно пугали младших, но уже подросших и впечатлительных пятилеток: куриная слепота. Сорвешь и ослепнешь, как курица. Дети, никогда в жизни не видевшие живую курицу, страшилкам неизменно верили и отчаянно рыдали.

Посмотри на меня



Следующее поколение застало первое цветение тополей и берез, насладившись летящим, как снег, тополиным пухом, от которого нет сладу, и цветущими березовыми сережками, которые девочки срывали и носили, повесив на уши. Жильцы квартир с первого по четвертый этажей, и без того вечно темных, из-за деревьев потеряли всякую надежду увидеть проблеск солнечного света. Зато они уверяли, что ранним утром, часов в пять, можно услышать пение соловьев и стрекот других птиц. Прекрасно же. Первые жильцы уже с внуками активно строили и развешивали скворечники. Не из каких-то пакетов из-под молока, а настоящие деревянные домики, соревнуясь, в чьем скворечнике скорее заведутся птенцы. Птиц подкармливали семечками, и кто-то видел в рощице двух белок. К тополиному пуху, мошкаре, полчищам комаров и появившихся ос добавилась еще одна проблема — вечно загаженные птичьим пометом подоконники. Причем с двух сторон, включая внутреннюю, в квартире. Как уж птицы умудрялись просочиться в форточку, никто не знал. Ос травил дихлофосом. Если первый «выводок» реагировал на отраву, то следующие от дихлофоса даже не чихали. Осы вили гнезда в углах домов, залетая в квартиры как к себе домой.

Ну а уже следующее поколение столичных детей задыхалось и кашляло во время цветения березы. Тополиный пух, которым так восторгались первые жители микрорайона, стал настоящим проклятьем. Каждый год на общем собрании жильцов

Маша Трауб



поднимался вопрос — вырубить деревья к чертям собачьим. Но старшее поколение, не страдавшее никакими видами аллергии, стояло насмерть. Тополя — символ их района. Вырубить их — значит уничтожить память о предках. У кого рука поднимется на такое святотатство? Сразу же и отсохнет. Так что детей на время цветения старались переселить на чухлые дачи, отправить к дальним родственникам, вдруг ставшим очень родными, поскольку в их краях ни тополя, ни березы не росли. Если жители приводили опухших и рыдающих детей на собрание жильцов в качестве аргумента для вырубки хотя бы части рощи, всегда находились те, кто приводил детишек совершенно здоровых, не чихающих. Виталий был из вторых. И бабушка всегда водила его на собрания жильцов. Бабушке нравился тополиный пух, залетавший в квартиру и лежавший уверенным ковром на полу.

Виталий любил эту квартиру, странную, темную, с вечно влезавшей в окно веткой клена, которую бабушка бережно выпихивала назад. С осиным гнездом в угловом стыке, которое не брали ни крутой кипяток, ни известь. С утренним ором птиц и, конечно же, загаженным в несколько слоев подоконником. Проще смириться, чем отмыть.

— Только не продавай эту квартиру после моей смерти. Она твоя, я дарственную подписала. Пусть останется, — попросила бабуля, вручая Виталию бумаги — подарок на восемнадцатилетие.

Виталию и в голову не могло прийти продать эту квартиру. Ему было в ней хорошо. Эта квартира

Посмотри на меня



умела менять цвет и свет. Обои вдруг становились не бежевыми, а оливковыми. Мутный свет люстры вдруг выдавал такую тень, которую искусственно не создашь. Это было его место. Место силы. Сюда он приезжал, когда было хорошо и когда плохо. Когда болел или, наоборот, находился на творческом подъеме. Здесь он, отбросив кисти, сражался с осиным гнездом. В этой квартире-хамелеоне достаточно было повесить на карниз любую тряпку, чтобы получить новый свет, новые тени. Ни одна студия, самая просторная и шикарная, не могла похвастаться таким свойством. Бабушка сразу же выделила ему большую комнату, перетащив куцый диванчик и все свои вещи в маленькую.

— Бабуль, давай я в маленькой, — просил Виталий.

— Нет. В своей делай и меняй что хочешь, а мой будуар не трогай, пока я не умру.

После бабушкиной смерти Виталий врезал в ее комнату замок и закрыл. Иногда заходил, ложился на диванчик и засыпал. Он не переставил ни одной фотографии на полке, не убрал ни одной салфетки. Бабушкина любимая чашка так и стояла на столе. Ее спицы, воткнутые в клубок, лежали в углу диванчика. Он взял только бабушкину любимую подушку-думочку. Подкладывал под спину. Боль, иногда мучившая его, уходила сразу же.

Виталий помнил, как украдкой сделал набросок — Инга стояла к нему спиной, курила в форточку. Неожиданно долго, почти не двигаясь. Он схватил карандаш, кусок бумаги и попытался за-

Маша Трауб



фиксировать тот момент. Инга обернулась, когда он дошел до ступней. Самого главного. Для него значимого. Сколько раз он себя проклинал, что не начал со ступней, с пола? Тогда бы Инга обрела устойчивость, а не висела в воздухе. Конечно, он мог дописать позже, ничего сложного, два штриха. Но для него момент ушел. Инга сделалась призраком. Тот набросок, самый первый, так и остался лучшим. Все остальные он сравнивал с ним, но больше ни разу не удалось поймать ни тот свет, ни тени, ни Ингу. Ее напряженную спину, вскинутый подбородок, когда она выпускала дым. Пальцы, державшие сигарету. Инга красиво курила. Всегда. Виталий, не реагируя на березу и тополя, задышался от табачного дыма. Не мог дышать. Глаза начинали слезиться.

— Не кури, пожалуйста, — просил он.

— Я хочу, — отвечала спокойно она, пошире открывая форточку.

— Зачем ты куришь?

— Мне это нравится. У меня не так много пороков, вредных привычек. Курение я могу себе позволить. И бросать не собираюсь. Не проси.

Виталий больше не просил. Точнее, просил, чтобы она еще раз встала к окну и курила так, как в тот день. Но все было иначе. Не так.

— Подожди, еще пять минут, можешь еще одну сигарету выкурить? — умолял он.

— Нет, не могу. У меня уже дым из ушей идет, — отвечала Инга. — Могу изобразить. — Она делала вид, что курит.

— Нет. Это подделка. Ты ненастоящая. Это видно, — сердился Виталий.

Посмотри на меня



— Тогда переключись на что-то другое, — хмыкала Инга.

И он переключился. На ее ступни, пальцы, ключицы, бедренные кости, икры, ахилловы сухожилия. Они были неидеальными, но он не мог оторвать от них взгляд. Слишком высокий подъем. Стопа, будто сломанная. Инга никогда не стояла на полной стопе — или выламывала ступню, или поджимала пальцы. Ему становилось нехорошо. Он боялся, что она сейчас переломает себе все пальцы. У нее были «иксовые» ноги, как говорят в балете. Выгнутые коленками в обратную сторону, как у жеребенка или олененка. Природные данные или аномалия тела, которая считалась идеальной для сцены. И эта невероятная стопа. С увеличенной горкой сверху. Инга, если натягивала носки, доставала пальцами до пола. Сколько раз он пытался нарисовать ее ступню? Миллион.

— Меня брали в балетную студию, но мама не хотела водить. Говорили, что у меня данные, которые раз в сто лет появляются, — как-то рассказала Инга. — По-моему, это уродство. Генетическая поломка.

— Это прекрасно, — шептал Виталий, мгновенно забывая и о Лене, и о сыне. Обо всем на свете. Для него существовала только эта выгнутая, будто выломанная, стопа.

Лена потом звонила. Кричала. Срывалась в истерику, без конца задавая один и тот же вопрос, на который у Виталия не было ответа:

Маша Трауб



— Как ты мог так поступить? Как ты мог? Это же твой сын!

Виталий молчал.

— Ты даже не считаешь нужным придумать объяснение своему поступку! — кричала Лена, заходя на очередной круг скандала. — Не хочешь попросить прощения? Не у меня, у сына?

— Прости, — выдавил из себя Виталий и вдруг вспомнил, как его мать тоже требовала просить прощения за любую шалость или провинность. Маленький Виталик даже не знал, что мама от него хочет, потому что не понимал, как это — «просить прощения». Но дети быстро догадываются, что от них хотят взрослые, не вникая в смысл слов, которые звучат абракадаброй. Виталик, склонив голову, говорил:

— Прошу прощения.

— Скажи, что больше так не будешь! — требовала мать.

— Я больше так не буду, — повторял послушно Виталик.

Уже в детском саду он получил возможность до совершенства отточить мастерство просить прощения. Он первым подходил к воспитательнице или нянечке и, глядя в пол, шептал:

— Прошу прощения. Я больше не буду.

Те тут же сменяли гнев на милость, поскольку ребенок сознался сам, да еще и пришел с повинной до того, как его начали ругать. Конечно же, Виталика гладили по голове и просили, чтобы он был «хорошим мальчиком» и больше не ломал, например, игрушечный экскаватор и не путал дета-

Посмотри на меня



ли металлического конструктора, закладывая их в разные коробки. А также не лепил пластилин к длинным косам Ниночки и не дразнил толстую Тусечку толстой Тусечкой.

— Я больше так не буду, — сказал Виталий Лене и невольно, естественно, не специально, хохотнул. Он не мог ей объяснить, что в тот момент вспомнил маму, воспитательницу и Ниночку с Тусечкой.

Вот тогда-то и наступил конец.

— Ты издеваешься, да? Тебе смешно? — Лена даже не кричала, а стонала от гнева, бессилия, ярости.

Позже Виталий узнал, что родители Лены тогда уехали отдыхать в пансионат. Собрались впервые за много лет. Всего на десять дней. Передохнуть от забот о внуке, бесконечных волнений за судьбу дочери. Ленина мама, Людмила Михайловна, до последнего отказывалась ехать. Переживала, как оставит дочь и внука. Но и сил уже никаких не оставалось. Они с мужем давно собирались в Кироводск — гулять по парку, пить воду, пахнущую сероводородом, и кислородные коктейли. Ходить на процедуры, массажи. Принимать лечебные ванны. Людмила Михайловна мечтала о новомодных, грязевых, которые якобы излечивали все болезни — от артрита до мигрени. А еще, по отзывам отдыхающих, продлевали женскую молодость во всех смыслах, включая интимный, о чем Людмиле Михайловне сообщила знакомая, побывавшая в том же пансионате. Конечно, по секрету, отдавая ухо слюной и жаром дыхания.

Лена тоже хотела, чтобы родители уехали отдыхать. Она понимала, что им это необходимо. Обо-

Маша Трауб



им. Мама устала от бытовых хлопот. Отец — от чувства вдруг возросшей ответственности. Мама как заведенная твердила, что они справятся, все будет хорошо, лишь бы Леночка была счастлива. И пусть поступает как знает, как хочет. Отец, бывший военный, не принимал этих аргументов. Он стучал кулаком по столу, а выпив, норовил поехать к «этому папаше» и призвать того к исполнению отцовского долга. Была б его воля, он бы вывел «зятка», оказавшегося нерадивым новобранцем, на плац и поставил бы часов шесть маршировать. На жаре. До теплового удара. Или посадил бы на три дня на гауптвахту. Тогда бы тот точно захотел стать лучшим отцом для своего сына.

Когда родители уехали, Лена вдруг поняла, что боится. Лерик капризничал, плохо спал, плохо ел. Плакал надрывно, часами. Она не могла его успокоить, как ни укачивала, и не понимала, с какой стороны подступиться к ребенку. Да, мама, ставшая бабушкой, почти полностью взяла на себя и кормления, и купания, и укачивания. Ночью подсакивала, едва Лерик начинал хныкать, и быстро успокаивала. Лена гуляла с коляской. Читала, сидя на лавочке, болтала со случайными приятельницами — Лерик, оказавшись на улице, засыпал сразу же.

Лена несколько раз собиралась позвонить Виталию, но останавливала себя. Она справится. Все справляются, значит, и она сможет. Но когда Лерик вдруг начал задыхаться, Лена растерялась и запаниковала. Она наконец осознала, что значит остаться одной. Когда за спиной никого — ни

Посмотри на меня



мамы, ни отца, ни какого-никакого мужа, с которыми можно разделить ответственность.

Лена позвонила в «скорую». Боялась, что на нее накричат, не дослушают, не поймут, но там, к счастью, ее слезы, невнятные объяснения не вызвали удивления. Перепуганной молодой мамочке положено быть нервной. «Скорая» приехала быстро. Необходимости в госпитализации, как заверил Лену врач, нет. Но Лена умоляла забрать их с сыном в больницу. Ей так было спокойнее. Не одна, рядом врачи. Пусть убедятся, что с Лериком все хорошо.

Виталий тогда так и не приехал. Ни в тот день, ни на следующий. Лена звонила еще несколько раз, просила привезти кефир, печенье, коробку конфет для медсестер, забрать их из больницы и довезти до дома. Она до последнего ждала, что увидит Виталия в вестибюле больницы. Оглядывалась на улице, надеясь, что тот просто вышел покурить. Стояла в воротах, глядя на дорогу, давая ему еще один шанс — появиться сразу на такси, извиняясь за опоздание. Но Виталий не приехал. Или забыл, или ему было наплевать. Так решила для себя Лена и была недалеко от истины. Он и забыл, и наплевал, откровенно говоря. Его интересовали только старый бидон и пропорции.

Звонки Лены его раздражали. Он ждал, что позвонит Инга. Не выходил даже в магазин — вдруг она приедет в тот момент, когда он будет стоять в очереди за хлебом? Не станет ждать. Когда звонила Лена, Виталий думал только об одном — в этот самый момент могла позвонить Инга, услышать короткие гудки «занято» и не перезвонить. Никогда.

Маша Трауб



Это была настоящая зависимость. Без Инги он не мог ни есть, ни спать, дышать не мог. Жить не хотел. Она все про него знала — про Лену, Лерика, развод, который он даже не заметил. Виталий ничего не скрывал.

— Почему ты молчишь? — спросил он как-то у Инги.

— А каких слов ты от меня ждешь? — равнодушно уточнила она. — Ты все равно поступишь так, как сочтешь нужным. Людям не нужны советы. Они вообще никого не слышат, кроме самих себя.

Он считал нужным быть с ней, писать ее. Набросками, кусками, выписывая ключицы, ложбинку на спине, шею. Ждать, мучиться ожиданием. Все остальное его не интересовало.

Лена его так и не простила за тот случай. Позвонила и сказала: Виталий может забыть, что у него есть сын. Навсегда. Больше он его не увидит. Алименты пусть перечисляет, согласно закону. Но никаких встреч. Никакого общения.

— Хорошо, — ответил Виталий.

— Хорошо? — Лена закричала так, будто ее полоснули ножом. — Что хорошо? Ты чудовище! Ты сейчас говоришь «хорошо»? Ты сам себя слышишь? Ты меня слышишь? У тебя нет сына! Ты это понимаешь? Это хорошо? Господи, как ты с этим будешь жить? Надеюсь, каждый твой день превратится в ад. Я хочу, чтобы ты испытывал ту боль, которую пережила я. И чтобы задыхался так, как твой сын. А еще лучше — сделай одолжение — сдохни. Чтобы я честно говорила сыну, что его отец умер. Даже на могилу к тебе приду и цветы принесу. Только сдохни,

Посмотри на меня



пожалуйста. Ты не должен ходить по земле. Такие, как ты, не должны, не имеют морального права. Пустые, никчемные, бесполезные создания, не способные даже на то, чтобы заботиться о потомстве. Без животных инстинктов. Слышишь? Ты — никто. Пустое место. Ничтожество. У тебя нет близких. И не будет. Ты понял? Я тебя проклинаяю. Хочу, чтобы ты никогда не узнал, что такое настоящая близость, семья, поддержка. И знаешь что еще? Не проклятие, а просто совет. Не становись больше отцом. Ты не можешь. Не способен. Тебе дети противопоказаны.

— Интересно, а если бы он был сантехником или окончил заборостроительный институт, ты бы стал с ним общаться? С тем же энтузиазмом? — спросила Инга, повернувшись на живот. Он сначала задохнулся от желания, а потом от ее вопросов.

— Кто? — не сразу отреагировал Виталий. Он думал о том, какой могла бы быть их с Ингой дочь. Да, у них должна была родиться именно девочка. Наверняка похожая на Ингу, с ее странными и прекрасными ступнями, шеей, ломкими руками. Он часто писал Ингины руки. Если она опиралась на ладонь, рука выгибалась в локте так, что становилось страшно. Будто рука вот-вот сломается.

— Ты как птица, — часто повторял Виталий.

— Почему?

— У тебя будто нет костей. Как у обычных людей. Ты — лебедь. Смотри, как ты сидишь... — Виталий прочертил пальцем по воздуху, повторяя изгиб ее руки. — Это ненормально, странно и прекрасно. У людей так руки не гнутся.

Маша Трауб



— Да, меня в детстве дразнили «гуттаперчевой девочкой». Помнишь книгу «Гуттаперчевый мальчик»? Нам ее задали читать на каникулы. После этого меня начали дразнить. Я себя ненавидела. Свое тело. Знаешь, какая кличка у меня была в школе? Змея. Такие в цирке выступают с номером «женщина-змея», которая может ноги к ушам поставить. Аттракцион. А на самом деле это болезнь, — хмыкнула Инга. — Я всю жизнь живу с болью — колени, стопы, суставы разламывает, выкручивает, голова раскалывалась. В детстве врачи говорили, что я так расту. Так и называли — болезнь роста. И говорили, что все само собой пройдет. Не прошло. Надо было идти работать в цирк.

Виталий схватился за карандаш. Инга смотрела иначе. Во взгляде отразилась боль. Изменился цвет зрачка — темно-коричневый вдруг окрасился охрой с проблесками оливкового, болотного.

— У тебя сейчас зеленые глаза... — прошептал Виталий.

— Да, так бывает, — пожала плечами Инга. — А ты можешь вот так сделать?

Она подскочила на кровати и села в позе лотоса, заложив ноги, как делают йоги, легко забросив ступни на бедра.

— Издеваешься? — рассмеялся Виталий.

— Знаешь, я все детство развлекала одноклассников трюками. Мне за это давали списать математику или физику. Смотри. — Инга отогнула мизинец на 90 градусов. Виталий охнул.

— А вот так? — хохотнула Инга и пригнула большой палец к предплечью. — Попробуй.

Посмотри на меня



— Нет, спасибо. Я себе палец сломаю.

— Знаешь, что самое смешное во всем этом? Лишь один врач сказал моей маме, что я больна. И лишь тот врач заметил то, что не замечал никто. Я при всей своей гибкости, гуттаперчевости, не могу прогнуться под лопатками. В пояснице могу сложиться в мостике, обхватив руками лодыжки. А под лопатками не гнусь совсем. Знаешь почему? Тот врач сказал, что сразу видит детей, на которых дома кричат или которых обижают. Тех, кто живет в боли, не важно какой — физической или моральной. Такие дети не умеют гнуться под лопатками, потому что привыкли сутулиться, закрываться, защищаться от внешнего мира, реальности. Они не чувствуют защиту. Врач посоветовал маме просто перестать на меня давить и оставить в покое. Дать мне возможность расправить лопатки и плечи. Мама тогда сказала, что врач странный и явно шарлатан, раз даже никаких таблеток не выписал. С чего он вообще взял, что мне плохо? Всем бы так плохо было. А она к нему записывалась на прием за два месяца и заплатила крупную сумму. И за что? За то, что врач ее во всем обвинил?

— У тебя идеальные лопатки и плечи, — промямлил Виталий.

— Нет. Они изуродованные, как и все тело. Мама нашла другого врача, который прописал мне корсет. Пыточный инструмент. Мама была счастлива, считая, что этот способ точно поможет и я не буду ходить скрюченная. Я ведь даже сидеть ровно не могла от боли. Выскакивала после урока на перемену в слезах. Мне было удобно только в одной

Маша Трауб



позе — поднять колени к груди и ссутулиться так, что спина становилась горбом. Мама отправляла меня в школу в корсете, который я срывала в туалете. Даже на физре я стеснялась переодеваться — все тело было в мокнущих язвах. Летом мама отправила меня в Евпаторию, в пансионат для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. До сих пор страшно вспоминать то лето. Тех детей, у кого были проблемы с ногами, заставляли носить специальные ботинки, тяжеленные, кондовые. По жаре в них было невозможно стоять, не то что ходить. Все — и малыши, и подростки — плакали — ботинки сжимали и без того истрадавшиеся, изувеченные ноги. Их называли «испанками», как испанский башмачок для пыток. Воспитатели следили, чтобы ботинки были крепко зашнурованы, и заставляли детей проходить в них три круга вокруг огромной центральной клумбы.

Представь себе детей разного возраста, которые еле двигались по кругу друг за другом. Они волокли ноги, будто на них навесили кандалы. Рыдали в голос все, не стесняясь, не сдерживаясь. Прогулка была ежедневной пыткой. Плач заглушали бодрой музыкой, раздававшейся из громкоговорителя. Включали специально на время прогулок. Ладно, я считалась уже взрослой, и мама со мной не поехала. Но с маленькими детьми прибыли мамы или бабушки. Они снимали комнаты по соседству с пансионатом и собственными глазами видели эти прогулки. Из-за забора, конечно, но наблюдали все издевательства. Никто не вмешался, не защитил собственного ребенка, не забрал оттуда в первый

Посмотри на меня



же день. Это было настоящее предательство. С таким мало что может сравниться.

Мальши после прогулки не могли идти на обед. Они падали пластом на кровати и плакали уже тихонько, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Потому что тех, кто плакал громко, воспитатели наказывали — заставляли снова обувать ботинки и стоять в углу. Я помню, что мы, спинальники: те, кто был отправлен в пансионат после травм позвоночника, и такие, как я, — странные, с врожденными особенностями или без понятного диагноза, — носили малышей в столовую на руках. Иначе они бы остались голодными — приносить еду в палаты воспитатели запрещали. Это тоже считалось частью терапии: голод — самый мощный стимулятор. Захочешь есть — доползешь до столовой. А эти малыши не хотели ползти. И есть не хотели. Хотели умереть. Признавались в этом так, что мы, подростки, верили — дети прекрасно знают, о чем говорят. У них не было страха перед смертью. Было ожидание. Смерть они призывали, умоляли прийти поскорее, разговаривали с ней, как с живым существом, которое может забрать и принести долгожданное облегчение. Одна девчушка, Катюша — пятилетняя, но выглядела как трехлетка, — рассказывала, что после смерти попадет на облачко и будет на нем спать. Она так красочно описывала жизнь на облаке, что остальные дети тоже стали верить, что после смерти попадут на небо. Когда это услышала воспитательница, она заставила Катюшу мыть язык хозяйственным мылом, чтобы больше не «рассказывать всякие глупости».

Маша Трауб



пости». В том пансионате была концентрация жестокости, издевательств и извращений. Там могли работать только маньяки, которым нравится причинять боль детям.

Мы, подростки, поделили маленьких детей между собой и каждый носил одного или двух подопечных в столовую, в душевую, в туалет. Конечно, это категорически запрещалось делать, но нам было наплевать. Я тогда решила для себя, что если не помогу Катюше или еще кому-нибудь, то сама утоплюсь или повешусь. Потому что выдержать такое возможно, только если противостояшь, пусть из последних сил, но сопротивляешься.

Каждое утро мы напяливали на себя гипсовые корсеты, в которых было невозможно согнуться и повернуться. Тело под ними жутко чесалось. Но дети живучи и изобретательны. Кто-то из более опытных ребят показал, как разбивать молотком корсет, делать его мягче. Как незаметно подрезать шнурки и не завязывать до конца, до потери способности дышать. Молоток был украден давно, спрятан за шкаф, а его местонахождение передавалось по страшному секрету вновь прибывшей смене мучеников. Так что мы хотя бы могли ходить и помогать младшим.

По вечерам нас всех отправляли на «коврики». Считалось, что эти волшебные коврики с острыми пупырышками-аппликаторами снимают зажимы и спазмы. Нас собирали в одной комнате. Те, у кого имелись проблемы с ногами, стояли на этих ковриках. А мы — лежали. Мама потом купила такой коврик за какие-то немислимые деньги и застав-

Посмотри на меня



ляла меня на нем лежать каждый день. Это было издевательство. Пытка. Насилие. Кто-то лежал спокойно, даже с удовольствием, я же не могла. Меня будто иглами прокалывали насквозь. Тогда я узнала, что такое ненависть. Настоящая. Нутряная. Когда хочешь убить родного человека, который обрекает тебя на ежедневные страдания. И утверждает, что это ради твоего же блага. Страшнее всего не просто ненависть, а ненависть, порожденная нестерпимой болью.

— Не уезжай. Я от тебя завишу физически. Всегда так было, ты знаешь, — попросил Виталий.

— Да, знаю. Но с тобой я тоже страдала. Наша связь... странная... не приносила мне облегчения, счастья. Только боль. Я прокручивала ее в голове, наслаждалась ею. Старалась выгнуть сильнее ногу, тебя это вводило в ступор. Ты смотрел на меня, а я на тебя — чем сильнее ты удивлялся, ужасался, тем мне было приятнее. Извращение какое-то. Тебе так не кажется? Я бы привлекла тебя, если бы не мои, так сказать, особенности? Если бы я была обычной? — Инга буравила его взглядом. Он терпеть не мог, когда она на него так смотрела. Не моргая. Как у нее это получалось? Она лежала голая, полностью от него зависимая в тот момент. Как и много лет назад, она не стеснялась своей наготы, что его потрясло. Он всегда стыдливо прикрывался простыней.

На своих многочисленных эскизах Виталий пытался набросить хотя бы кусок ткани на ее грудь, бедра. Пусть намеком, но прикрыть эту наглую,

Маша Трауб



беспардонную наготу. Но так и не получилось. Инга на рисунках могла быть только голой. Никакого поворота ноги, положения тела, скрывавшего срамоту, руки, будто случайно прикрывшей грудь, эскиз не допускал. Виталий злился, хотел порвать рисунок, но не мог. Он хранил их все. Старая папка с истрепавшимися углами, на завязках, превратившихся со временем в нитки, уже не вмещала все наброски. Но он не хотел заводить другую. Потом пришлось. Он никогда и никому эти рисунки не показывал. Никому, кроме Инги.

Сколько времени спустя она позвонила? Прошел год с небольшим. Он уже не ждал ее. Не отчаялся, не смирился — просто устал. Не каждому человеку дан дар ожидания. Далеко не каждый умеет терпеть разлуку. И не каждый готов к тому, чтобы жить лишь надеждой. Виталий тогда окончательно перебрался в бабушкину квартиру, забрав остатки вещей, которые Лена выставила на лестничную клетку. Он не открывал сумку. Дошел до ближайшего мусорного контейнера и выбросил. Вместе с Леной и неудавшейся попыткой семейной жизни.

К телефонным звонкам Виталий успел привыкнуть — часто звонили по работе заказчики, и он уже не дергался от каждого звонка. Сердце не рвалось на части. И оттого сильнее было потрясение, когда он услышал в трубке ее голос.

— Привет. Весна наконец наступила. У тебя как, окна грязные? А я помыла. И сразу же пошел ливень. Помнишь, как ты жаловался, что тебе не хва-

Посмотри на меня



тает света? — рассказывала она, будто они расстались буквально вчера.

— Это ты? — У Виталия пересохло во рту. Он еле ворочал языком.

— А ты ждал звонка от кого-то другого? — усмехнулась Инга. — Ну, прости. Просто посмотрела сегодня на окна без занавесок и тебя вспомнила. Вот решила позвонить.

— Я ждал. Тебя, — проямлил Виталий. — Приедешь?

— Когда? — легко спросила Инга.

— Когда можешь? — Виталий боялся сказать лишнее.

— Сейчас могу, — ответила Инга. — Через час буду. Если, конечно, хочешь.

— Хочу...

В тот день, когда Инга появилась в его квартире, Виталий сделал то, о чем раньше и помыслить не мог. Достал папку, в которой хранил наброски, дернул неудачно завязку, вырвав с корнем, и рисунки разлетелись по полу. Он кинулся их собирать, и в этот момент Инга зашла в квартиру. Он специально оставил дверь открытой. Конечно, Виталий не стремился произвести на нее впечатление. Не мечтал увидеть ее восторженный взгляд — он наблюдал, как она берет один лист, рассматривает, откладывает в сторону, потом другой. И уж тем более не предполагал, что она сядет на кровать и весь вечер будет рассматривать его наброски. Свои части тела — от пальцев до шеи.

— Что ты хочешь? — иногда спрашивала его Инга в моменты близости.

Маша Трауб



Он хотел одного. Это было его тайное, самое запретное желание. Самая неприличная мысль, сидящая в голове. Самое недозволительное, выходящее за все рамки извращенное желание, в котором он не мог признаться. Позже окажется, что так и не признается: чтобы она наконец обняла его, поцеловала по-другому — с нежностью, исходящей изнутри, из желудка, которую нельзя сымитировать, как наслаждение. И сказала, что он гений, настоящий. А потом поцеловала бы его руку, ладонь с внутренней стороны. Прижала к своей щеке и снова поцеловала. Он мечтал, чтобы хоть раз она поцеловала его ладони в знак благодарности, нежности, восхищения, признания.

Как он когда-то целовал ее ступни. Каждый палец. Когда удалось сделать набросок, от которого ему хотелось плакать, настолько рисунок соответствовал действительности. Идеальный. Не придумать. Написанный по памяти. И потом он целовал каждый ее палец, каждую фалангу с признанием — он изобразил все так, как есть.

— Чего ты хочешь? — спрашивал Виталий в каждую их встречу.

— Нежности, откровений, ласки, — неизменно отвечала Инга.

— Все этого хотят. А конкретно? — требовал Виталий.

— Скажи, что ты меня любишь, — как-то неожиданно попросила Инга. Он оказался к этому не готов и замешкался. Не смог ответить сразу же. Пошел варить кофе.

Посмотри на меня



И она... пропала на два года. Два мучительных для него года.

За это время он написал ее почти всю — живот, пупок, внутреннюю поверхность бедра, руки от локтя до запястья и отдельно от локтя до плеча.

В тот день, когда Инга вдруг появилась и увидела разбросанные по полу эскизы, рисунки акварелью, маслом, графитом — свои колени, шею, нос, — она так ему ничего и не сказала. Просидев несколько часов над его работами, она отбросила последний эскиз, вскочила и молча ушла.

Их связь была ненормальной, мучительной. Они встречались, были любовниками уже сколько... пятнадцать лет? Он ничего про нее не знал. Она же, казалось, знала про него больше, чем он сам про себя. Годы бежали слишком быстро. Быстрее, чем развивались их отношения. Да и как можно было назвать их редкие встречи отношениями? Странная, противоестественная зависимость. Сексуальное влечение? Инга была родной — по запахам, ощущениям, дыханию, телодвижениям. Тем человеком, с которым хотелось умереть в один день, обнявшись в последний раз. На одной кровати, застеленной старой простыней. Лежать голыми и знать, что умираешь.

— Что ты в этом понимаешь? — разозлился Виталий. — Это мой сын. У тебя ведь нет своих детей.

— Никогда, слышишь, больше никогда ни одной женщине не говори такое: что она могла

Маша Трауб



стать матерью, но этого не случилось. Это самое страшное, что можно произнести, — тихо сказала Инга.

— Зачем ты пришла? Зачем опять появилась? Почему ты надо мной издеваешься? Зачем я тебе сдался? Ты можешь со мной просто поговорить?

Виталий уже не кричал, а орал. Ему было так больно, что хотелось проорать эту боль. Неужели Инга не видит, не чувствует, что ему плохо, и сознательно его добивает? Или она ему так мстит? За что?

— Мне пора. Правда. — Инга спокойно начала одеваться.

— Зачем я тебе был нужен все эти годы? Скажи. — Виталий вырвал из ее рук лифчик, который она собиралась надеть.

— А я тебе зачем? — ухмыльнулась она.

Она знала, что обрекает его на настоящий ад. Тот, в который его хотела отправить Лена, — мучиться каждый божий день, страдать так, что хочется выйти в окно от бессилия и невозможности все исправить. Он был обречен думать о нерожденном ребенке. И пытаться его написать, как все эти годы писал женщину, так и не ставшую матерью. Представлять, от кого из родителей что ей передалось. Потом, когда Инга уже ушла, он взял карандаш и не смог сделать набросок. Рисовать детей он не умел. Подсознание выдавало херувимов, пухлых младенцев с картин великих мастеров. Реальных, настоящих детей Виталий никогда не писал. И, наверное, в тот момент он понял Лену, оказавшуюся одной с больным ребенком на руках. Лена не зна-

Посмотри на меня



ла, что делать, ей было страшно. И этот страх Виталий вдруг почувствовал. Он не мог даже сделать набросок того, что легко рисуют уличные художники разной степени таланта, профаны-самоучки, непризнанные гении: пухлых детей, непременно кудрявых и румяных, с гипертрофированными складками-перетяжками и круглыми, как блюда, глазами. Одинаковых. Написанных, как под копирку. Виталию в голову не приходило рисовать новорожденного Лерика. Или Лену, кормящую сына грудью. Все банальные сюжеты, просившиеся на карандаш, он не использовал, потому что просто их не замечал. Не видел ни красоты, ни нежности, ни особого таинства — сакрального, потустороннего, которое хранят в себе только новорожденные младенцы и кормящие матери.

Виталий схватил Ингу за руку. Сжал. Больно. Специально.

— Ты не уедешь. Слышишь? Ты не можешь! — закричал он.

— Уеду. Могу, — пожала плечами она. Не вырывала руку, хотя он сжимал все сильнее. Хотел, чтобы остался синяк. Не кричала: «Отпусти, мне больно», — чего он добивался. За это спокойствие, равнодушие он был готов ее задушить. Еще полчасика назад, когда они лежали в кровати, он мог сделать это спокойно. Сжать руками горло, и все. А потом писать ее тело сколько влезет. Пока оно не начнет разлагаться.

— Гусь, пожалуйста, я тебя умоляю... — Виталий отпустил ее руку, сполз по ней, обнял колени. — Не

Маша Трауб



мучай меня. Ты же знаешь: кроме тебя, никого... никогда... Я не выдержу без тебя.

— Мне пора, правда, — спокойно ответила она. — Гусь... Надеюсь, так меня никто больше не будет называть.

Виталий дернулся, как от пощечины, и отстранился.

В детстве, сколько он себя помнил, его все звали «Виталик — в жопе сандалик». Иногда сандалик менялся на роголик или шарик. Взрослые чаще всего называли Витей. Его просто корежить начинало. Бабушка так и вовсе звала Володей, потом поправлялась, извиняясь.

Мама звала его Викусей, а та же бабушка, измучившись с Володей, обходилась без имени, обращаясь к нему или в третьем лице, или ласковыми «котенок», «малыш». Но неизменно возвращалась к «Володе», «Володечке».

Неистошимым на прозвища оказался отчим, который появился ненадолго, но засел в памяти Виталика на всю жизнь. Каждый день он называл его новым именем: «Виташа — манная каша», «Виташа-какаша» и «Виталина-чипалина». Позже добавилось «Витусик-пидарусик». «Виталя-педаля» или «Виталик-кошмарик» можно было считать безобидными нежностями.

Помимо коверкания собственного имени Виталий с детства слышал фразы: «Что с тобой не так?» или «Почему ты не можешь быть нормальным?».

Он точно помнил, когда появились эти попреки: в детском саду, в средней группе. С того слу-

Посмотри на меня



чая, когда он попросил Машеньку примерить ее юбку во время тихого часа. Машенька не возражала и попросила в обмен примерить штаны. Воспитательница так их и застала. Но Машеньку ругать не стали, а Виталику (та воспитательница называла его Витюсей) досталось по полной. Когда за ним вечером пришла мама и позвала: «Викуся», — воспитательница подскочила, отвела ее в угол и долго что-то шептала. Мама кивала. Виталик, уже одетый, сидел на лавочке и отчаянно потел. Была зима. Мама не любила его ждать, всегда раздражалась, если он не успевал заранее одеться. Виталик в тот вечер даже шарф успел завязать так, как требовала воспитательница, чтобы была закрыта половина лица. «Наглотаетесь холодного воздуха, а мне потом за вас отвечать», — бурчала она, поворачивая детей к себе спиной и туго завязывая шарф сзади под воротником. Так, что вся шерсть с шарфа неизменно оказывалась во рту. Дети сначала учились дышать нечасто, чтобы не задохнуться под шарфом, а после прогулки ковыряли пальцами во рту, чтобы вытащить шерстинку или нитку. Пока мама разговаривала с воспитательницей, Виталик едва дышал.

— Пойдем, дома поговорим, — строго сказала мама.

— Я не могу. Я мокрый, — промямлил Виталик.

— Описался, что ли? — ахнула мама.

— Нет, я под шубой и на голове мокрый, — ответил он.

Воспитательница каждый день твердила им, что, если они будут бегать и вспотеют, не пойдут

Маша Трауб



на прогулку. «Мокрыми я вас не поведу! Заболее-те, а мне потом отвечать!» Виталик не хотел еще больше расстраивать воспитательницу, поэтому признался маме, что вспотел.

— Вот видите? И так все время! Не понимаю, почему он не может быть нормальным! Примите меры! — воскликнула воспитательница.

Мать кивнула.

Она тогда поставила Виталика в угол и сказала, что он простоит там до утра, пока не осознает свое дурное поведение и не извинится как положено. Если же еще раз хотя бы приблизится к Машеньке или любой другой девочке, она его отлупит ремнем. И если не станет вести себя нормально, то тоже отлупит. Виталик хотел и осознать, и вести, и извиниться «как положено», но не знал, что именно надо делать.

А уже через неделю после этого случая в их квартире появился дядя Игорь. И не ушел, а поселился. Мама забрала из комнаты Виталика тумбочку, в которой хранились игрушки, альбомы для рисования и пластилин, заявив, что дяде Игорю она нужнее. Большую часть платяного шкафа, стоявшего в комнате Виталика, тоже заняли вещи дяди Игоря. А шорты, рубашки, носки Виталика были утрамбованы на самую нижнюю полку. «Тебе будет проще их доставать», — объяснила мать.

Дядя Игорь принес торт, они сели пить чай — мама достала из серванта парадный сервиз с желтыми цветами. Виталик хотел сковырнуть крем-овую розочку, как делал всегда, и мама не возражала, но она вдруг шлепнула его по руке.

Посмотри на меня



— Как ты себя ведешь? Что о тебе подумает дядя Игорь?

Мама торжественно объявила Виталику, что он теперь должен слушаться дядю Игоря, потому что тот ему вроде как папа. Виталий слышал разговор мамы с бабушкой — что-то про «мужскую руку», «пример перед глазами» и прочее. Бабушка категорически возражала. Мама твердила, что это «ее дело» и «ее жизнь».

Отчима Виталик возненавидел с первого же вечера. Даже больше, чем соседа Кольку, который был тремя годами старше и натравливал на Виталика Пирата — здоровенного пса неизвестной породы. Пират знал только одну команду — «фас». Рвался с длинной веревки, заменявшей поводок, скалил пасть, лаял так, что соседи с первых этажей открывали окна и орали: «Колька, угомони Пирата, или мы живодерку вызовем!» Колька же подкарауливал Виталика и говорил Пирату «фас». Виталик застывал на месте. Сосед умело регулировал поводок, то подпуская Пирата поближе, чтобы Виталик прямо перед собой увидел клацающую зубами морду, то, наоборот, отгоняя его от мальчика.

— Ну что, Виталик-гениталик, обосрался? — хохотал Колька.

Виталик знал значение всех прозвищ, кроме этого.

— Ну чё, теперь можем говорить с тобой, как мужик с мужиком, — объявил дядя Игорь в первый же вечер. — Не все ж с бабами обсуждать. Так что ты это... не стесняйся.

Маша Трауб



Виталик посмотрел на мать. Та кивнула. Мол, можно.

— А что такое гениталик? — спросил Виталик.

Дядя Игорь не просто рассмеялся, а загоготал. Виталик смотрел, как изо рта дяди брызжет слюна, вываливаются куски непрожеванного торта, и не понимал, почему он должен слушаться этого человека. И почему мама тоже подхихикивает и не замечает, что от этого человека плохо пахнет, что он хуже Кольки и Пирата, вместе взятых. Хуже Стасика, который с увлечением поедал собственные козявки. Хуже Машеньки, которая жевала собственные волосы — засовывала в рот конец косички и мусолила во рту, когда рисовала. Хуже воспитательницы, которая стала еще сильнее затягивать на нем шарф перед прогулкой.

Но совсем плохо стало потом. Дядя Игорь заходил в комнату к Виталику, брал его солдатиков, расставленных в определенном порядке, и начинал «играться». Один солдат бил другого, и дядя Игорь говорил «вот тебе, сволочуга», «получай, гад». Поиграв, дядя Игорь отлучался ненадолго на кухню, но возвращался, чтобы продолжить игру. После отлучек он становился все краснее, от него все хуже пахло, а «гад» и «сволочуга» сменялись другими словами, про которые Виталик знал, что они плохие и их нельзя произносить. Он сначала переживал, что дядя Игорь сломает солдатика, а потом понял, что надо просто переждать: дядя гудел, изображая самолет, или орал «бабаааах», будто выстрелил танк, рисовал схемы сражений и тщательно раскрашивал стрелки, откуда должно начаться наступление.

Посмотри на меня



— Ну что, хорошо поиграли? Пойдемте ужинать, — звала их на кухню мать. Видимо, эти игры и должны были сделать из Виталика настоящего мужчину.

Он заметил, что мама изменилась. Она будто стала такой же, как дядя Игорь: неприятной. Стала громче говорить, смеялась по-другому — резко, грубо. Готовила на ужин сосиски с макаронами, которые так любил дядя Игорь и терпеть не мог Виталик. Его начинало тошнить от одного запаха варящихся сосисок. А еще оттого, как дядя Игорь и мама их едят — натывая на вилку целиком. И переваренная, лопнувшая сосиска свисала с вилки. Виталик отводил взгляд — сосиска казалась ему отвратительной, как и вдруг изменившаяся мама. Она стала иначе причесываться, одеваться, накладывать макияж. Сменила духи. Так сильно душилась, что Виталик задыхался от запаха, начинал кашлять.

Мама перестала его целовать перед сном, и он был этому только рад. Она пахла дядей Игорем — так Виталик назвал этот новый аромат.

Он пошел в школу. Первый и второй классы почти не помнил. Они перешли из садика в школу почти всей группой. Машенька разрешала заглянуть себе под юбку всем желающим. Стасик все так же ел козьявки, но делал это уже тайно. Пират сдох, и Колька гулял с новым псом, Матильдой. Дрессировал ее на команду «фас», но та оказалась не способна на агрессию. По команде кидалась, ставила лапы на плечи того, кого должна была загрызть, и облизывала с ног до головы. Того, кто

Маша Трауб



хоть раз почесал ее за ухом или по пузу, Матильда запоминала и встречала радостным лаем и активными облизываниями. Сколько Колька ни орал «фас», Матильда падала на спину, подставляя пузо для чесания. Виталика Матильда обожала.

Он возвращался из школы и увидел, как в подъезд заходит женщина. Со спины — вылитая мама.

— Мам, подожди! — крикнул Виталик.

— Вырастешь, можешь звать меня мамочкой, — хохотнула, обернувшись, женщина. Соседка. Про нее говорили, что она работает шалавой. Виталик не знал, что это за профессия, но догадывался — что-то неприличное, стыдное. Опять же не знал, как это склеить в голове с вколоченным намертво еще в детском саду: «Все работы хороши, выбирай на вкус».

Виталик густо покраснел. Он зашел в лифт с соседкой, хотя долго возился с почтовым ящиком. Но лифт спустился медленно, а Виталик не хотел столкнуться на лестнице с пьяным дядей Петей, который лежал в собственной моче между третьим и четвертым этажами. Дядя Петя, казавшийся мертвым, однажды очнулся, когда Виталик пытался через него переступить, и вдруг больно схватил его за ногу. Виталик от неожиданности упал, прямо в мочу и рвоту дяди Пети. Тот пьяно захохотал и отрубился. Виталик долго отмывал свои штаны и рубашку в ванной, тер себя губкой, но так и не смог стереть с одежды запах блевотины и испражнений. Те брюки с курткой он больше не надевал, засунув подальше в шкаф.

Посмотри на меня



Лишь поэтому он зашел в лифт с соседкой. Стоял, вжавшись в стену, смотрел в пол. Но та вдруг наклонилась, подняла ладонями его лицо и уткнула в ложбинку между грудями. Виталик задохнулся — от неожиданности, приторного запаха. Почувствовал, как намокли брюки. Моча все лилась, пока не начала капать на пол. К счастью, соседка этого не заметила, рассмеялась и вышла на своем этаже.

Войдя в квартиру, Виталик бросился в ванную, чтобы содрать с себя штаны.

— Викуся, а поздороваться? — окликнула его мать из кухни.

— Привет. — Виталик заглянул на кухню и увидел мать, с той же прической, что и у соседки. Почувствовал запах тех же духов.

— Сядь, поешь, разогревать не буду, — велела мать.

Виталик сел за стол, чувствуя, как штанина приклеивается к ноге. Как запах мочи смешивается с запахом сосисок. Он не сдержался. Двинул тарелку от себя. Отбросил на край стола. Сосиска вывалилась на стол.

То, что произошло дальше, он помнил кадрами, как в кино. Он сидит в ванной, без воды, а дядя Игорь лупит его по голове. Виталик прижимает руки к голове, но не пытается увернуться от ударов. Но главное, он совершенно не помнит, как оказался в ванной. Следующий кадр — он лежит в постели, в своей комнате. Кто-то подходит, трогает его лоб и уходит. Не мама точно. Запах другой. И рука чужая, мужская. Следующий кадр — дядя Игорь ставит чашку с чаем на его тумбочку и уходит. Вита-

Маша Трауб



лик засыпает — запах чая его успокаивает. Просыпается оттого, что его трогают совсем чужие руки — уверенные, быстрые, теплые. Он заставляет себя открыть глаза, но видит только что-то белое. Запах ему нравится — пахнет чем-то чистым. Слышит разговоры — мать что-то лепечет шепотом, женский голос говорит строго, жестко. Виталик заставляет себя прислушаться к разговору.

Строгий голос настаивает на госпитализации — у ребенка может быть черепно-мозговая травма. Мать шепчет, что не знала, не видела, не понимает, как такое произошло. Виталик знает, что мама врет. Он вдруг вспомнил. Дядя Игорь несет его на руках в комнату, мама сидит на кухне.

— Кровищу там замой, — кричит дядя Игорь, и мать послушно берет тряпку и идет в ванную.

Виталик пытается что-то крикнуть маме, но не может. Хочет сказать, что ему больно, но видит только материнскую спину. Мать оттирает кровь в ванной.

— Наверное, поскользнулся и упал, — говорит мама врачу.

Врач не отвечает. Уходит, громко хлопнув дверью.

Виталик открывал глаза, закрывал. Не помнил, сколько прошло времени. Очнулся от запаха. Собственного. Запаха немывтого тела. Ему стало противно. Нечем дышать.

— Маам, — позвал он, но никто не ответил.

Он заставил себя спустить ноги с кровати — голова закружилась. Наверное, как-то смог добраться до ванной и лишь тогда снова потерял сознание.

Посмотри на меня



Очнулся оттого, что кто-то пытался его поднять. Слабые руки тянули его вбок, а не вверх. Запах. Бабушкин. Она плакала и повторяла: «Вставай, малыш, давай, зайка, поднимайся, давай».

Виталик заставил себя очнуться. Запах земляничного мыла. Таким только бабушка пользовалась. Бабушка его мыла, терла мочалкой, поливала из душа. Виталик не стеснялся бабушкиных рук. Ему стало хорошо и спокойно. Бабушкины руки защищали. Виталик хотел продлить мытье хотя бы еще на некоторое время. Чувствовать, как на голову льется вода. Как бабушка трет его нежно и в то же время сильно. Она его терла и терла, будто стараясь смыть с него болезнь, боль, обиду. Намыливала губку и снова терла. Спускала набравшуюся в ванную воду и снова набирала. Виталик видел, что бабушка вся мокрая не от воды, а от слез — его и своих.

А потом дядя Игорь пропал. Мама сказала, что Виталик должен о нем забыть, будто его никогда и не было.

— Это потому, что он меня избил? — спросил Виталик у матери.

— Не выдумывай. Он тебя никогда пальцем не трогал, — резко ответила мать.

Виталик точно помнил момент, когда заболел — декабрь. Было холодно. Он должен был участвовать в школьном концерте по случаю Нового года. Учительница велела придумать и сшить дома костюм Снеговика. Мать сказала, что не собирается «участвовать в этой вакханалии». Виталик понял